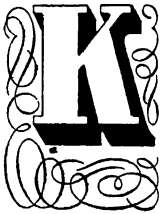


## ПУШКИН И ГРУЗИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



ТО не знает, что в наши дни сбылось и полностью оправдалось пророчество Пушкина в его „Памятнике“, кто может без волнения видеть и слышать, как эвенки, тогда — «дикий тунгус», теперь — студент, читает стихотворение „Памятник“ и затем поет его на своем родном языке?

Великая Октябрьская революция обеспечила возможность широкого знакомства с творчеством Пушкина для всех народов Советского Союза и укрепила почву для бесконечной любви к нему и привязанности, которой отмечены торжества, происходящие в день столетия со дня смерти поэта.

Мне кажется, сейчас важно вспомнить тот период, когда знакомство с Пушкиным не могло распространяться так широко среди всех народов Российской империи, как теперь в Советском Союзе, тот период, когда только немногие из народов империи могли читать Пушкина на своем родном языке и когда, тем не менее, Пушкин на всем протяжении царской России мог выполнять ту исключительно высокую миссию, тот свой гражданский долг, который он в полной мере выполнил и перед своей родиной, перед своим родным народом и перед другими народами, Российской империи подвластными.

Ведь Пушкин в течение восьмидесяти с лишним, даже в течение девяноста с лишним, лет был тем звеном, которое связывало порабощенные царским строем различные народы с великим русским народом, был тем звеном, которое давало возможность всем этим народам видеть, что по настоящему представляет собою русский человек, не русский чиновник, не русский офицер, на Кавказе. В Пушкине для всех этих народов, как в зеркале, отражались самые высокие, самые лучшие черты русского народа. И Пушкин приучал

подвластные Российской империи народы любить русского человека, любить русский народ.

Эту свою миссию Пушкин выполнял, конечно, не сознательно, — не думал он об этом, не стремился именно к этому. Но само бесконечное многообразие и многогранность его творчества обеспечивали возможность Пушкину быть тем фокусом, в котором сосредоточивались, в глазах всех этих народов, лучшие черты русского народа.

Бесконечная многогранность его творчества, которую ни с чем нельзя сравнить, кроме бриллианта самой лучшей огранки, давала возможность каждому из этих народов видеть в той или иной грани творчества Пушкина близкие себе мотивы, особенно тогда, когда Пушкин вводил в свой круг творчества элементы, взятые из жизни, из быта, из творчества, из идеалов каждого из этих народов, входивших в состав России.

А кто же не знает, что ко всем народам Пушкин и 100—120 лет тому назад умел подходить с полным пониманием их души и самых тонких переживаний, кто не знает, что каждый из народов Российской империи, когда он встречается в творчестве Пушкина, освещен как раз с той стороны, которая его наиболее характеризует, и кто не знает, что незаслуженная и несправедливая оценка, которая дается, но очень редко, Пушкиным отдельным народам России, вкладывается им в уста тех, кто именно так и думал, а не звучит как мысль, как мнение, как слова самого поэта?

В ряду тех народов, которые были особенно близки в этом смысле Пушкину, на первом месте, безусловно, стоят народы Кавказа и сам Кавказ со всем его бесконечным многообразием, со всей пестротой тех условий, которые наблюдал Пушкин и которые Пушкин так тонко охарактеризовал в своих произведениях, хотя бы в „Путешествии в Арзрум“.

Но суть дела заключалась в том, что, помимо многогранности, были элементы в творчестве Пушкина, бьющие в глаза и привлекающие к себе, которые указывали народам, подвластным царской России, что в Пушкине они имеют своего, родного поэта.

Это — те стихи Пушкина, в которых воспевались вольность, это те стихи, в которых он умел исключительно ему свойственными словами выразить самые наблевшие мечты, самые наблевшие скорби и горести этих народов. Лишь немногие крохи из творчества Пушкина, касающиеся этих тем, достигали тогда до читателя — царская цензура вычеркивала все. И не вина Пушкина, что мы все, сыны Кавказа, кавказские дети, не знали тех дивных четырех

стихов, которыми Пушкин закончил свой „Кавказ“. Кто из нас тогда знал, что это стихотворение кончалось словами:

«Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под Властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят».

Но вот уже двадцать лет, как Кавказ перестал быть безмолвным, как перестали быть безмолвными все другие народы и других окраин бывшей России, и сейчас полным голосом звучит в их среде имя Пушкина.

С Кавказом Пушкин был связан очень тесно, его

... «Муза, легкий друг мечты,  
К пределам Азии летала  
И для венка себе срывала  
Кавказа дикие цветы».

К Кавказу Пушкин возвращался неоднократно, к нему были обращены отлитые в чудесных стихах слова:

«Во время оное, бывшее,  
В те дни ты знал меня, Кавказ,  
В свое святилище глухое  
Ты призывал меня не раз.  
В тебя влюблен я был безумно,  
Меня приветствовал ты шумно»...

Пушкин любил эту страну, и Кавказ может считать Пушкина вдвойне своим.

Наблюдательность Пушкина, исключительная филологическая точность, иначе трудно это характеризовать, в передаче названий, в передаче слов, которые ему попадались, — это все должно было привязывать вновь и вновь к Пушкину те народы, которые жили на Кавказе, и в их числе, может быть, в первую очередь — грузинский народ.

Пушкин грузин знал, встречался с ним, и грузины несомненно привлекали к себе симпатии поэта. Уже одно то, что он считал нужным привести мнение человека, хорошо относившегося к Грузии, — Санковского, объясняет нам, как сам Пушкин смотрел на этот народ. То, что Пушкин сумел уловить в тех слоях грузинского народа, которые не могли посылать своих сынов в тогдашние университеты и в гимназию, тогда только что открывшуюся на Кавказе, — это еще лучше показывает нам, как Пушкин воспринимал весь этот народ в целом.

Если в стихотворении „Памятник“ в числе других вариантов в черновиках значатся и грузины — «грузинец ныне дикой», то этому противопоставить можно указание Пушкина на то, что «умственные способности (этого народа) ожидают большей образованности». <sup>1</sup> В словах его «грузинец ныне дикой» — слово «ныне» имеет ведь двоякий смысл: с одной стороны, «ныне» — это «теперь», с другой стороны, «ныне» — это «не прежде и не [в будущем]». И Пушкин, с этим народом хорошо знакомый, несомненно это и думал, когда писал: «грузинец ныне дикой».

Пушкин жил в Тифлисе, но характерно, что живя в Тифлисе, он встречался не только с теми людьми, которые могли печатать свои стихи, которые могли образовывать тайные общества, на подобие общества декабристов, но и, быть может, в большей мере, с теми слоями, которые могли только работать, а не имея работы, сидеть в ее ожидании на большом базаре, примыкавшем к дому, где жил Пушкин. И мы знаем, что именно с этими людьми — и со взрослыми и с мальчишками — Пушкин общался особенно охотно.

Пушкина с Грузией и с Кавказом в целом связывали симпатии не только к верхушкам общества. И здесь он держался той точки зрения, что «хорошее общество может существовать не в одном кругу, а везде, где есть люди честные, умные, образованные». <sup>2</sup>

Народ, с которым столкнулся Пушкин в Тифлисе и по пути в Тифлис, грузинский народ, имел многовековую культуру.

Ведь когда Пушкин впервые ехал на Кавказ, там едва только отзвучали дивные стихи Бесики (Габашвили) и того величайшего кавказского поэта конца XVIII века, имя которого Саят-нова, — величайшего лирика, творчество которого отразилось в стихах на его родном армянском и на грузинском, турецком, персидском языках. И многое из того, что звучит иногда в стихах Пушкина, как восточные напевы, в конце концов восходит к творчеству поэтов круга Саят-нова. А если пойти дальше в глубь веков, то мы дойдем до того величайшего поэта Грузии, имя которого — Шота, а прозвище Руставели.

Все грузины, которым могли тогда, при жизни Пушкина, попасть в руки его стихи, которые могли понять и познать его творчество, — все они имели возможность вспомнить и своего родного поэта, величайшего из поэтов Грузии — Шота Руставели.

<sup>1</sup> „Путешествие в Арзрум“, гл. II.

<sup>2</sup> „О чопорности и жеманстве“ (статьи и заметки из „Литературной газеты“ 1830).

И сейчас, когда перед нами лежит весь Пушкин и весь Руставели, нельзя отрешиться от мысли, что есть какая-то конгенциальность в определенных моментах творчества Пушкина и творчества Руставели. Пусть эти моменты случайны, — ни о каком заимствовании, ни о каком влиянии тут говорить нельзя. Тут можно говорить только об одинаковом подходе к некоторым очень большим и очень остро отражающимся в поэзии вопросам.

Те, кто знают и помнят {стихотворение Пушкина, знаменитое стихотворение, приведшее в такой восторг Аксакова: «Нет, я не до рожу мятежным наслаждением», и те, кто знают вступительные строки к „Витязю в тигровой шкуре“, не могут не сравнить первой строфы этого дивного стихотворения Пушкина с тем, как Шота Руставели определяет любовь, любовника и те мечты, которые дозволены влюбленному, те наслаждения, которые должны быть для него запретными.

«Объятый любовным безумием постоянен, но не любодей, не низкий развратник. В разлуке с возлюбленной вздох и стоны его становятся сильнее... Его сердце довольствуется одною, будь она сурова или гневлива. Мне противны ласки, в которых не чувствуется души: объятия, поцелуи и чмокание в губы. Влюбленные, вы не должны называть любовью, если кто легко переносит мучительную разлуку, если сегодня ему нужна одна, а завтра другая. Это напоминает пустые забавы молодежи, — это мальчишество. Истинный любовник тот, кто сдерживает земные порывы».

Вторая строфа стихотворения Пушкина не находит себе соответствия у Руставели. Но более точной передачи той мысли, которая выражена в {четверостишиях Руставели, чем мы это имеем в первой строфе Пушкина, трудно было бы найти.

Другой момент, роднящий двух поэтов, — момент, может быть, еще более важный.

Кто из великих мастеров стиха не давал 'познать силу своего мастерства, сосредоточивая в нескольких строках наибольшие достижения своего {пера?

Кто из Вас не знает вступительных строф к „Домику в Коломне“, где шутя и небрежно Пушкин показал все величайшее мастерство своего стиха, тем более великое, что здесь ни в одной строфе форма не расходится с содержанием, что здесь ни в одном стихе мы не можем усмотреть того, что мы наблюдаем хотя бы в стихах Бальмонта, взявшего на себя перевод поэмы Руставели: у того форма

расходится с содержанием, потому что есть просто дивная форма и, зачастую, нет содержания.

Шота Руставели посвятил шесть четверостиший поэту, рассказу о том, каким должен быть поэт, кто заслужил наименование поэта и кто этого имени не стоит:

«Поэзия прежде всего отрасль мудрости: божественному ее (содержанию) должно внимать с благоговением, она весьма поучительна для слушающих. Кто подготовлен, тот и в этой области получает удовлетворение. Обширную мысль можно заключить в краткую речь, вот почему поэзия прекрасна. Подобно тому, как лучшим испытанием коня являются длинный путь и большие перегоны, как об игроке в мяч судят по ристалищу, по меткости удара и по ловкости взмаха, так (пробным камнем) поэта служит умение слагать длинные песни, (искусно) осаживать (коня), если исчерпан предмет беседы и рифма начинает иссякать. Присмотритесь к поэту и его песням тогда, когда ему нехватает языка и рифмы его начинают редеть. Не укоротит ли он своей речи? Не оскудеет ли его слово? Хватит ли у него героической отваги ударить ловко (по мячу) чоганом? Того, кто случайно скажет два-три слова в стихах, нельзя называть поэтом; напрасно ставит он себя наравне со славными певцами. Иной сложит стих, другой, — они ни на что не похожи, бессвязны. Но он твердит: «Мой (стих) лучше» — упрям, как мул. Другой (вид) — мелкие стихотворения; это — удел поэтов, бессильных отлить мысли, пронизывающие сердце, в совершенные (формы). Я уподоблю (такое стихотворство) жалкому луку молодых охотников: крупного зверя им не положить, они могут бить лишь мелкую дичину. <sup>1</sup> Третий (вид) песен годен для широв и увеселений, для ухаживания, для забавы и легкомысленных походов с приятелями; и к этим песням мы обращаемся охотно, если мысль выражена в них ясно. Но тот, кто не в силах создать чего-либо крупного, — не поэт». <sup>2</sup>

Эти четверостишия даны с таким мастерством, с таким богат-

<sup>1</sup> Вспомним стихи Пушкина:

«О чем, ироник, ты хлопочешь,  
Давай мне мысль, какую хочешь,  
Ее с конца я заострю,  
Летучей рифмой оперю,

Взложу на тетиву тугую,  
Послушный лук согня в дугу,  
А там пошлю наудалую,  
И горе нашему врагу!».

<sup>2</sup> Перевод Н. Я. Марра, см. вступительные и заключительные строфы „Витязя в барсовой коже“ Шоты из Рустава, Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, кн. XII, 1910 г., стр. 9.

ством стихотворных размеров и форм, какого смог достигнуть в области грузинского языка, в области грузинской поэзии только Шота Руставели. Но это — та особенность подлинника, которую никакой переводчик передать не может. Она была хорошо знакома всем грузинским поэтам, грузинским писателям, грузинским общественным деятелям, которые сталкивались с Пушкиным в жизни, которые знали его стихи, потому что и тогда не было в Грузии человека из тех, кто умел читать или был способен запомнить наизусть, который не знал бы этих чудных стихов Руставели.

Пушкина переводили на грузинский язык многие. Много появилось переводов Пушкина и при царском строе, но интересно, что ни одно из больших произведений Пушкина не было переведено на грузинский язык крупным поэтом. Большие поэты Грузии переводили отдельные, по преимуществу лирические, стихи Пушкина. И это понятно. Ведь мы знаем, что сам Пушкин находил, что Жуковского перевели бы на все языки, если бы он сам меньше переводил.

Большинство переводов Пушкина сделано профессионалами, которые сами, как творцы, прошли в истории грузинской литературы незамеченными. Многие из грузинских поэтов переводили Пушкина, но еще большее количество грузинских поэтов подчинялось творчеству Пушкина, восприняло определенные элементы этого творчества и переложило их на свой язык, именно переложило, а не перевело, — и в этом достоинство этих поэтов.

Вспомним, как сам Пушкин определял, что есть подражание и что есть заимствование.

«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение, признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, или чувство, в смирении своем еще более возвышенное, желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь».<sup>1</sup>

Этим последним подражанием несомненно нужно объяснить многое из того, что сделали и Илья Чавчавадзе, и Акакий Церетели, и больше всех Вахтанг Джамбакур-Орбелиани.

При переводах Пушкина на грузинский язык был неизбежен ряд ошибок, примером которых может служить то, что хорошо владевший и грузинским и русским языком писатель Рафаэль Гуриэли умудрился перевести „Скупой рыцарь“ — „Скупой исполин“,

<sup>1</sup> Фракийские элегии.

„Скупой богатырь“, — хотя для слова «рыцарь» в грузинском языке не трудно было подыскать два-три соответствия.

В конце концов, не так важно и то, что в 80-х годах при переводе „Барышни-крестьянки“ наименование рассказа было дано в значительно искаженном виде — „Барышня и крестьянка“. Таких ошибок можно было бы насчитать много. Но сила этих переводов заключается в целом ряде случаев в том, что переводчик стремился приблизить великого поэта к своему родному народу, и ошибки, зачастую, являются не ошибками, не погрешностями, а именно результатом законного стремления приблизить великого русского поэта к своему, для данного переводчика, национальному языку.

Но были и такие случаи, как например, когда царевич Теймураз, переводивший Пушкина, выражение «широко-медные лбы» перевел «широкие, медные лбы», пояснив, что, очевидно, предметом сатиры должны являться те люди, которые, как бы обладая тяжелым лбом, сделанным из меди, часто наклоняют головы и низкопоклонничают. Но учтем, что эту ошибку сделал в 30-х годах грузинский царевич, человек блестяще образованный на своем родном языке и плохо знавший русский язык.

В других случаях те приспособления к своему языку, которые мы имеем в ряде переводов, несомненно отражают то самое, что так замечательно охарактеризовал сам Пушкин, народность тех поэтов, которые переводили Пушкина. Вы помните, как Пушкин еще в 1825 г. ставил вопрос о том, что с некоторого времени у нас вошло в обыкновение говорить о народности, жаловаться на отсутствие народности; но никто не думал определить, что разумеет он под словом *народность*.

Пушкин дает общую характеристику того, в чем он видит народность: «Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками: для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дает каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается и в поэзии». <sup>1</sup>

Этого рода отражение грузинского национального облика мы имеем в целом ряде случаев в тех переводах, которые давали самые

<sup>1</sup> О народности в литературе (1825 г.)



большие, самые крупные из грузинских поэтов на протяжении времени от конца 20-х годов до самого начала нового века и в наши дни.

Интересен подбор тех стихотворений, с которых начались переводы. Может быть не случайно то, что особой популярностью, повидимому, пользовались те произведения Пушкина, в которых чувствовалась идейная близость с образами, с мыслями, которые были возвращены грузинской поэзией в течение предшествующих веков.

Не мудрено, что для глаза менее привычного, для глаза менее знакомого с этой стороной грузинской поэзии, эти элементы прежде всего звучали как персидские. К сожалению, и в наши дни принято целый ряд культурных и художественных явлений определять словами более для нас привычными, определять именами «избранных» народов, в частности, именами народов, сохранивших до наших дней свою государственность, забывая о том, что целый ряд элементов культуры создан народами, потерявшими свою государственность, или даже не имевшими ее никогда. Кому придет в голову в составе персидской, турецкой поэзии искать элементы курдских заимствований, кому придет в голову среди персидских или турецких поэтов искать курдских? Причина только одна — курды никогда не имели государственности. Поэтому, эти условные этикетки «иранский», «турецкий» иногда наклеиваются на элементы, которые могут покрываться этими именами, но только отчасти.

Приведу два примера.

Характерно, что два поэта, Размадзе (в альбоме Теймураза) и Вахтанг Орбелиани перевели 52-ю строфу 7-й главы „Евгения Онегина“:

«У ночи много звезд прелестных,  
Красавиц много на Москве.  
Но ярче всех подруг небесных  
Луна в воздушной синеве.  
Но та, которую не смею  
Тревожить лирою моею,  
Как величавая луна  
Средь жен и дев блестит одна.  
С какою гордостью небесной  
Земли касается она.  
Как негой грудь ее полна,  
Как томен взор ее чудесный»....

Размадзе в сборнике Теймураза дает перевод вольный, меняя ссылку на город во второй строке: «Красавиц много в Тбилиси».

Содержание этой строфы до такой степени пронизано элементами так называемой «ориентальности» — для более утонченного глаза, — иранизма (а для глаза, знакомого с элементами культуры Востока, это отнюдь не только иранизм), что она не могла не привлечь к себе внимания грузинских поэтов того времени. Эти образы, например, сравнение красавиц со звездами, с луной, находили отражение в десятках и сотнях стихов, написанных и по-персидски, и по-армянски, и по-грузински, и по-турецки, и по-курдски, и эти образы в стихах Пушкина привлекли к себе внимание грузинских поэтов. Ведь здесь для 52-й строфы 7-й главы „Евгения Онегина“ можно было бы привести десятки параллелей. Я ограничусь только одной.

В XI веке, в стихах знаменитого персидского поэта Гургани, поэма которого „Вис и Рамин“ в XII веке была переведена полностью на грузинский язык, имеется такое сравнение красавиц и царицы Шахро, славившейся своею красотой:

«Здесь тысячи собрались дев прекрасных,  
Их много, словно звезд на небе ясных...  
Шахро же всех прекраснее для взгляда,  
Уста, глаза — отрава и услада...  
Сидит она — луна-ль среди жен сияет,  
Идет она — самшит ли выступает»...<sup>1</sup>

Вот эти моменты, так же как то содержание, которым проникнуты пушкинское стихотворение „Телега жизни“, в первую очередь привлекали к себе внимание не одного, а двух, трех переводчиков; параллели ей можно было бы привести среди произведений целого ряда поэтов Востока, и грузинских поэтов в первую очередь. Но грузинские поэты дали перевод, приспособленный к обиходу Грузии.

Особо интересная судьба постигла стихотворение „Цветок задохший, безуханный“.

Его перевел на грузинский язык Александр Чавчавадзе, человек, который встречался с Пушкиным, — тесть Грибоедова. Но любопытно, что это стихотворение Пушкина в переводе Чавчавадзе воспринималось и воспринимается в широких кругах Грузии, как подлинное произведение грузинской поэзии. Переводность его не осознана вовсе, его распевали и распевают во всех самых глухих уголках Грузии, и никто не подозревает, что это перевод из Пушкина.

<sup>1</sup> Перевод с персидского М. М. Дьяконова.

Вспоминается судьба одного из добролюбовских стихотворений: „Милый друг, я умираю“. Оно в 70-х годах переведено армянским поэтом Рафаэлем Патканьяном. Его распевали все стремившиеся к освобождению армяне (особенно его любила молодежь) распевали, не зная, что это — стихотворение Добролюбова, точно так же, как те, кто изучает творчество Добролюбова, и не подозревают, что тогда уже был сделан перевод этого стихотворения на один из языков нашего Союза.

Кто были те переводчики, которые занимались переложением Пушкина на грузинский язык? Совершенно естественно, что в большинстве своем, за исключением одного или двух, это были представители высших кругов. Но интересно, что они в истории грузинской мысли прошли как патриоты, а некоторые из них, как ярые националисты, например Илья Чавчавадзе. Но суть дела в том, что их патриотизм и те элементы национализма, которые они проявляли, — патриотизм особого порядка и национализм особого порядка. Бывает национализм и национализм, — когда национализм диктуется чувством национального самосохранения, чувством национальной самозащиты. И это чувство национального самосохранения придавало многим из них облик националистически настроенных поэтов. Тут трудно не привести строк Пушкина о патриотизме.

«Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени князя Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья; со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью, и что дети их бегают в красной рубашке». <sup>1</sup>

Эти «патриоты» — не настоящие патриоты, и грузинский народ это очень хорошо понимал. Поэтому эти слова, эта мысль прозвучали, как близкие, как понятные для тех людей, которые знали свою историю, которые любили историю своей страны.

Интерес к Пушкину у грузинского народа очень велик именно потому, что Пушкин находит слова и понятия, которые близки грузинским поэтам, всему грузинскому народу.

Я хочу напомнить вам следующие слова: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть

<sup>1</sup> Отрывки из писем, мысли и замечания, II (1827 г.).

постыдное малодушие.... Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения... Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца».<sup>1</sup>

Эта мысль близка была тем грузинским поэтам, которые переводили Пушкина. Эти слова должны были звучать особенно для этого народа, после того как Екатерина II дала известное указание, чтобы обработать «грузин так, чтобы душа у них была русская, но сохранено грузинское тело». Грузинский народ, наоборот, стремился к тому, чтобы сделать грузинское тело по возможности русским, сохранив грузинскую душу, грузинский народ стремился к тому, чтобы свое внешнее обличие приблизить к русскому, сохраняя, повторяю, свою грузинскую душу.

Хочу напомнить Вам слова Пушкина: «Вот явление неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в прилагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным; как русский офицер, помнит чувства ненависти к России, волновавшие это отроческое сердце».<sup>2</sup>

Вот эти мысли Пушкина, подчеркивание им этих положительных сторон, не могли не делать Пушкина близким той группе поэтов, которые впервые занялись переводом Пушкина на грузинский язык. В их ряду хронологически первое место занимают поэты, переводы которых имеются в альбоме царевича Теймураза, хранящемся в Институте востоковедения Академии Наук.<sup>3</sup> Это — Соломон Размадзе и сам Теймураз.

Талантливый переводчик Соломон Размадзе перевел еще до

<sup>1</sup> Отрывки из писем, мысли и замечания, II (1827 г.).

<sup>2</sup> К рассказу „Долина Ажитугай“ (1836 г.).

<sup>3</sup> См. содержательную статью К. Д. Дондуа „Пушкин в грузинской литературе“ (в сборнике „Пушкин в мировой литературе“. Л., 1926, стр. 199—214), в которой много интересных сведений о переводах Пушкина и переводчиках, сведений, использованных и нами.

30-го года „Пророка“, „Веселый пир“, „Пробуждение“, главу из „Онегина“, отрывки из „Демона“ и отрывки из „Братьев-разбойников“. Размадзе среди ранних переводчиков отличается тем, что больше других стремится сделать свой перевод близким грузинской среде. В „Веселом пире“ вместо «песен до утра» мы видим дополнение «и стук рогов» (из которых пьют); обстановка должна была быть такая, которая была близко знакома читателям Размадзе на грузинском языке. Это он заменил стих «Красавиц много на Москве» стихом «Красавиц много в Тбилиси». Он вносил и некоторые пояснения: у Пушкина «Как негой грудь ее полна», у Размадзе — «какою сладостью полна ее чарующе-хрустальная грудь». Для поэта времен Размадзе, для среды, в которой жил и творил Размадзе, определение «грудь» без эпитета было невозможно. К этому приучили Размадзе его учителя в области поэзии.

За Размадзе идет Александр Чавчавадзе, прославленный «певец розы и соловья». Он дал действительно много ценного в описании красот природы, причем самое замечательное в его творчестве — это переплетение элементов Востока и Запада. У него есть целый ряд своих оригинальных произведений, есть ряд переводов из Пушкина, переводов очень хороших, как „Обвал“, „Анчар“, „Цветок“, „Элегия“, „Пробуждение“, „В кустах таятся купидоны“ и ряд других. Но еще больше у него подражаний Пушкину, причем эти подражания иногда представляют собой подражания в смысле заимствования основной мысли, но не передачи определенных конкретных форм, а иногда заимствуется только образ.

За ним идет Г. Эривани. Он учился в Москве в те годы, когда Пушкин еще творил, и за участие в заговоре 1832 г. был сослан в Вильно. Эти события несли с собою новые идеи, новый жанр. В его романтическую, вообще, прозу вливаются элементы реализма. В области переводов Пушкина он дал не так много, хотя дал и удачные переводы, но в ряду других переводчиков он занимает не первое место.

Михаил Туманишвили, который должен был проводить и провел крестьянскую реформу на Кавказе, дал переводы Пушкина: „Я помню чудное мгновенье“, „Зимний вечер“ в свободном переложении, „Бахчисарайский фонтан“, „Каменный гость“, „Адели“, „Дон-Жуан“ и ряд отдельных стихотворений. Ему как раз принадлежит перевод „Барышни-крестьянки“ с той погрешностью, о которой я говорил.

Наконец, Бараташвили, который переводил сравнительно мало, замечательный поэт, которого люди, склонные к преувеличению, ставят по силе дарования на одну доску с Руставели. В произведениях Бараташвили есть так много элементов байронизма, байронизма в том условном значении, к которому мы привыкли в истории русской литературы, что расчленять элементы его творчества, зависящие от творчества Пушкина, и в большем числе случаев от творчества Лермонтова, и, наконец, непосредственно от Байрона — очень трудно. Но, несомненно, Бараташвили являлся одним из тех наиболее одаренных грузинских поэтов, которые ввели Пушкина в обиход широких кругов.

Григорий Орбелиани, принадлежавший к „Тайному содружеству“, связанный с декабристами и сосланный в Новгород, дал целый ряд переводов, кстати он переводил и Рылеева.

Но особенно замечательны те произведения Орбелиани, которые отражают творчество Пушкина не в виде непосредственных переводов.

Наконец, Вахтанг Орбелиани, учившийся в Петербурге в Пажеском корпусе в те дни, когда Пушкин еще творил. Вахтанг Орбелиани в смысле внедрения в грузинскую среду элементов творчества Пушкина, пожалуй, сделал больше всех, не столько своими переводами, сколько именно своими переложениями, своими подражаниями. В подражании его опять-таки характерно то же самое, что мы имеем у Соломона Размадзе, — там где в „Зимнем вечере“ у Пушкина мы читаем: «Спой мне песню, как девица за водой поутру шла», — Орбелиани дает образы, более близкие той среде, в которой он рос: он — внук царя Ираклия II — просит спеть о «славных временах грузинских мечей, о битвах с Азатханом». В другом стихотворении, в котором он несомненно подражает Пушкину, в ряд величайших поэтов мира он включает и Шота Руставели. Все это делало его стихотворения более близкими грузинской среде и, с другой [стороны, передавало его личные симпатии, его личные интересы.

Наконец, Илья Чавчавадзе, тот самый грузинский поэт, творчество которого, может быть, в наибольшей мере нуждается в истолковании, исходя из заметок Пушкина, определяющих и природу народности и природу истинного патриотизма, — тот поэт, которого справедливее всего было бы оценивать в отношении его национализма, исходя из его стремления к национальному самосохранению. Чавчавадзе переводил многих поэтов, — и Гете, и

Шекспира, — но самое замечательное, что его связывает с Пушкиным — это изумительный перевод „Пророка“.

„Пророк“ переводился до Чавчавадзе другими, но наиболее совершенный перевод был дан Ильей Чавчавадзе.

Я не буду сейчас перечислять целый ряд других грузинских поэтов, которые давали те или иные произведения Пушкина в переводе на свой родной язык, которые давали то или иное подражание Пушкину. Тем более не буду упоминать тех профессионалов поэтов, типа поэтов-переводчиков, которые ничего кроме переводов не дают, которые перевели все большие произведения, самые трудные в смысле их объема, — потому что их лицо в истории грузинской литературы не так замечательно, чтобы, опираясь на них, искать корней широкого распространения Пушкина в грузинских массах.

Но хочется упомянуть одного переводчика, имя которого, как переводчика, я думаю, до сегодняшнего дня почти никому неизвестно, — это юноша 17 лет, — Нико Марр, издатель гимназической газеты на грузинском языке в Кутаисской гимназии, который в 1881 г. в выпускавшийся им школьный журнал „Беди“ включил свой перевод стихотворения Пушкина „Встань, о, Греция, встань!“. Через три года он дал перевод „Эхо“, „Талисмана“, „Птички божией“ и еще двух-трех произведений.

Конечно, в 1881 и 1884 гг. никто не видел в этом юноше будущего великого ученого Николая Яковлевича Марра. Но то, что он именно в это время, будучи мальчиком, переводил Пушкина, чтобы включать его стихотворения в издаваемый им школьный журнал, — очень характерно. В тот момент он был лишь одним из учеников Кутаисской гимназии, мне кажется, что это определяет ту широкую популярность Пушкина в грузинских кругах, которую надо особенно иметь в виду, чтобы понять, как Грузия восприняла возможность сейчас более широко и обоснованно поставить ознакомление всего грузинского народа с творениями великого русского поэта.

В 1917 г. исполнилось столетие от дней, когда Пушкин писал свою „Вольность“, и столетие оды „Вольность“ ознаменовалось великой Октябрьской ночью и тем бесконечно светлым днем, который эта ночь принесла нашей стране. С 1917 г. совсем по новому пути пошли народы Советского Союза.

Здесь невольно хочется вернуться мыслью и к одной фразе „Путешествия в Арзрум“ и к одной вычеркнутой самим Пушкиным

полустроке из стихотворения „Памятник“. Вы помните, был там вариант «грузинец ныне дикой». Вы [помните в „Путешествии в Арзрум“ есть указание, что «умственные способности грузинского народа ожидают большей образованности».

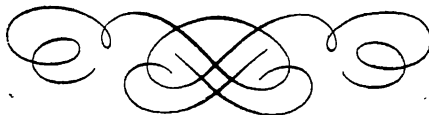
Многое из написанного Пушкиным подтвердилось, и ровно через сто лет оправдалось пророчество оды „Вольность“.

Но Пушкин не предвидел, что одним из двух руководителей тех событий, которые привели к оправданию пророчеств оды „Вольность“, явится сын именно грузинского народа, вырвавшегося из под царской пяты, вышедшего из под временного мрака «необразованности» и «дикости», вышедшего на совершенно новый путь.

И еще одного не предвидел Пушкин в своем „Памятнике“, что пророчество его стихов найдет себе полное оправдание в наши дни, когда все народы Советского Союза слились в одну семью, когда почти начисто отпадает надобность в переводе Пушкина на какие бы то ни было языки народов Советского Союза. Ведь перевод все равно будет несовершенен, кто бы его ни делал, потому что пушкинский стих и пушкинский язык в целом не перевести, не передать ни на один язык. А между тем, все народы, населяющие Советский Союз, теперь уже не принуждаемые считать своим государственным языком и своим родным языком русский язык, стремятся с каждым днем все больше и больше усвоить этот язык, язык великого русского народа, — народа, вокруг которого они сплотились в создании нового мира.

Пушкин не предвидел еще одного: что столетие его смерти будет ознаменовано так, как оно ознаменовано сейчас в стране, только что принявшей один из величайших в истории человечества актов, — Сталинскую Конституцию.

Ведь Пушкин желал грузинскому народу образованности, он желал этой образованности и другим народам России. Пушкин тогда не знал, что образование станет предметом права и, что инициатором закрепления права всех граждан на образование явится сын грузинского народа, сын Грузии, теперь уже не печальной, а радостной и светлой.





---

АКАДЕМИЯ НАУК  
СССР

СТО ЛЕТ  
СО ДНЯ СМЕРТИ  
А.С. ПУШКИНА

ТРУДЫ  
ПУШКИНСКОЙ СЕССИИ  
АКАДЕМИИ НАУК  
СССР

1837 — 1937

---

Издательство Академии Наук СССР  
Москва-Ленинград

1 9 3 8